

Эти размышления записаны в феврале 2016 года, печальном пушкинском месяце. Задумалась: а как отвечает «наше все» на сегодняшние вызовы, дает ли нам указания. Какие? И слышим ли мы их?

*...И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел.*

Пушкинские слова. Сказаны 185 лет назад. А кажется, будто про наших сегодняшних доморощенных русоненавистников. Так что, думаю, все-таки не дураки и дороги — известные наши беды. Дураки они и в Африке дураки, куда от них денешься? Дороги, глядишь, и построим. А вот извечные внутренние «оппозиционеры» — это проблема покруче. Боюсь, почти неразрешимая. Об этом Пушкин и написал.

Стихотворение, из которого взяты приведенные выше строки, имеет непростую историю. О ней и хочу вспомнить. Думаю, вполне актуально.

Текст стихов дошел до нас в копии, сделанной в начале XX века издателем Пушкина Шляпкиным с чернового автографа поэта. Сам же автограф был впоследствии утрачен. Копия (а точнее — транскрипция), на основе которой пушкинский текст был реконструирован в академическом издании поэта, а затем повторен (и уже как канонический повторяется) во всех последующих, весьма несовершенна — что-то Шляпкин в пушкинской рукописи не разобрал, чего-то не понял. Впрочем, и рукопись, повторю, была черновая — стихотворение еще не обрело в ней целостного, законченного вида. Потому, и это вполне логично, и печатается оно не в основном составе текстов поэта, а в разделе «Незавершенное, отрывки, наброски».

Между тем, если внимательно взглядеться в это пушкинское стихотворение, то становится очевидным, что не завершено оно только с точки зрения формы. Мысль же автора, его оценки, его пафос выражены в нем абсолютно четко, бескомпромиссно, предельно органично. И в этом смысле стихотворение можно считать вполне законченным. И что самое важное — в высшей степени знаменательным для понимания политических взглядов Пушкина, осознания глубинной сути его национально-государственного мышления, самой природы его патриотизма.

Написанное в связи с польским восстанием 1830 — 1831 годов, оно остро и органично вписывается в контекст глубоких размышлений Пушкина об этом событии, которое, с его точки зрения, было «чуть ли не столь грозное», как 1812 год. И, действительно, как и во времена Отечественной войны с наполеоновскими войсками, тогда, в начале 1830-х, решалась судьба России: быть ли ей могущественной и целостной державой, или, утратив политическую волю, пойти на поводу

у сепаратистов и под одобрительные аплодисменты Запада и доморощенных либералов отпустить Польшу (в тот исторический период бывшую законной и неотъемлемой частью России) на «свободу».

Этот вопрос относительно Польши встал перед Россией не в первый раз. На протяжении всего XIX века он был одним из центральных для русской общественно-политической жизни. Еще в 1819 году в «Мнении русского гражданина» — записке, поданной императору Александру I, убежденный государственный Н.М. Карамзин писал: «Польша есть законное российское владение. Старых крепостей нет в политике. Восстановление Польши будет падением России, или сыновья наши обогрют своей кровью землю польскую и снова возьмут штурмом Прагу». (Прага — старинное варшавское предместье на берегу Вислы — связана с событиями 1794 года, когда Варшава была взята Суворовым — С.С.)

Так случилось и на этот раз. Русское правительство Николая I приняло все меры для подавления Варшавского бунта. Европа негодовала. Ее сочувствие было целиком на стороне поляков. Во французской палате депутатов витийствуют русофобы и русоненавистники. Европейская пресса полна нападок на «варварскую» Россию. Полонофильство становится своеобразным «знаком качества» для европейского либерального сознания, известные писатели: Гюго, Беранже, Делавинь во Франции, Кернер, Ленау, Уланд в Германии и Австрии — отзываются на русско-польские события произведениями, исполненными презрения и ненависти к России. Антирусская кампания набирает обороты.

Пушкин самым внимательным образом следит за происходящими событиями. Они — центральная политическая тема в его разговорах, в его письмах, наконец, в его творчестве того времени. «Озлобленная Европа, — читаем мы в черновике его письма к Бенкендорфу (около 21 июля 1831 г.), — нападает покамест на Россию не оружием, но ежедневной, бешеной клеветой. Конституционные правительства хотят мира, а молодые поколения, волнуемые журналами, требуют войны».

Пушкинские формулировки жестки, оценки бескомпромиссны: «...Какой год! Какие события! — пишет он своей постоянной и умной собеседнице Елизавете Михайловне Хитрово, дочери великого Кутузова, регулярно снабжавшей его по его просьбе европейскими вестями. — Известие о польском восстании меня совершенно потрясло. Итак, наши исконные враги будут окончательно истреблены, и, таким образом, ничего из того, что сделал Александр, не останется, так как ничто не основано на действительных интересах России, а опирается лишь на соображения личного тщеславия, театрального эффекта и т. д. Известны ли вам бичующие слова фельдмаршала, вашего батюшки? При его вступлении в Вильну поляки бросились к его ногам. «Встаньте, — сказал он им, — помните, что вы русские». Мы можем только жалеть поляков. Мы слишком сильны для того, чтобы ненавидеть их, начинающаяся война будет войной до истребления или, по крайней мере, должна быть таковой... Россия нуждается в покое...» и спустя несколько месяцев, в письме к Вяземскому 1 июня 1831 года, рассказывая о последних событиях на русско-польском фронте, Пушкин пишет: «...Но все-таки их надобно задушить, и наша медлительность мучительна. Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря; мы не можем судить ее по впечатлениям европейским... Того и гляди, навяжется на нас Европа...» и еще одно письмо Вяземскому, двумя месяцами позже: «...Наши дела польские идут, слава Богу: Варшава окружена, Крженецкий (Ян Скржинецкий, польский главнокомандующий — С.С.) сменен нетерпеливыми патриотами... Крженецкого обвиняли мятежники в бездействии. Следственно, они хотят сражения; следственно,

они будут разбиты, следовательно, интервенция Франции опоздает (Францией вынашивались и такие планы, что крайне беспокоило Пушкина — С.С.), следовательно, граф Паскевич (главнокомандующий русскими войсками, впоследствии наместник Царства Польского с особыми полномочиями — С.С.) удивительно счастлив».

Пушкин не ошибся в своих прогнозах. Менее чем через две недели после этого его пророчества, 26 августа 1831 года, в день, мистическим образом совпавший с днем Бородинского боя 1812 года, предместье Варшавы, Прага, было взято русскими войсками.

Не отозваться на это событие Пушкин не мог. И он отозвался. И как! Стихами, которым суждено было стать одной из вершин его патриотической лирики, — бессмертной «Бородинской годовщиной»:

*...Сбылось — и в день Бородина
Вновь наши вторглись знамена
В проломы падшей вновь Варшавы;
И Польша, как бегущий полк,
Во прах бросает стяг кровавый —
И бунт раздавленный умолк...
Но вы, мутители палат,
Легкоязычные витии,
Вы, черни бедственный набат,
Клеветники, враги России!
Что взяли вы?.. Ещё ли росс
Больной, расслабленный колосс?..
Ваш бурный шум и хриплый крик
Смутили ль русского владыку?
Скажите, кто главой поник?
Кому венец: мечу иль крику?..*

«Бородинская годовщина» стала третьим стихотворением в пушкинском поэтическом цикле, посвященном русско-польским событиям 1830 — 1831 годов. Но не последним. Кроме стихов «Перед гробницею святой...» — о величии и военной славе Кутузова и знаменитой оды «Клеветникам России», адресованной западным русоненавистникам, есть у Пушкина и еще одно стихотворение, венчающее весь цикл.

Собственно, с этого стихотворения и начала я разговор. Лишенное (по ряду текстологических причин, о которых было сказано выше) законного права занять место в основном составе пушкинских текстов и потому, как правило, отсутствующее в массовых изданиях поэта, оно гораздо менее известно, чем три других «польских» стихотворения, и стоит от них как бы особняком. Между тем, по силе мысли и по остроте выражения оно им ничуть не уступает, хотя и подходит к волнуемому Пушкина предмету с другой стороны.

Впрочем, зачем комментарий, когда в этом можно убедиться, прочитав само стихотворение, и не в отрывочном виде, как это до сих пор было, а в полном его варианте?

*Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды ЧИСТЫЙ лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел.
Когда безмолвная Варшава поднялась,
И ЯРЫМ бунтом ОПЬЯНЕЛА,
И смертная борьба МЕЖ НАМИ началась,
При клике «Польска не згинела!» —
Ты руки потирал от наших неудач,
С лукавым смехом слушал вести,
Когда РАЗБИТЫЕ ПОЛКИ бежали вскачь,
И гибло знамя нашей чести.
КОГДА Ж Варшавы бунт РАЗДАВЛЕННЫЙ ЛЕЖАЛ
ВО ПРАХЕ, ПЛАМЕНИ и в дыме, —
Поникнул ты главой и горько возрыдал,
Как жид о Иерусалиме.*

Перед нами стихотворение Пушкина в блестящей реконструкции выдающегося пушкиниста и текстолога Сергея Михайловича Бонди (1892–1983). В виде карандашных вставок она сохранилась в тексте стихотворения, опубликованном в малом академическом пушкинском собрании, с которым ученый постоянно работал. Сергей Михайлович в свое время показывал мне эту реконструкцию, сам считал ее почти бесспорной, но на публикацию не решался — предельная научная щепетильность не позволяла ему это сделать. «После моей смерти, пожалуйста», — помнится, сказал он мне однажды.

Впервые этот текст мне удалось опубликовать в диалоге с П.В. Палиевским «Пушкинская Академия» («ЛГ», № 6, 1987 г.), к сожалению, без необходимых комментариев и разъяснений. Теперь пришло время восполнить этот пробел.

Ведь не только мы приходим к Пушкину, но и его мысль, его слово приходят к нам, и именно в тот момент, когда это особенно необходимо. Так случилось и с нашим пушкинским стихотворением. Оно пришло не раньше, не позже, а как раз вовремя. Пришло в высшей степени актуализированным, наполненным абсолютно современным содержанием. Наверное, это и есть признак истинной гениальности — прозревать явления и, освобождая нас от немоты, давать им имя.

И в самом деле, разве можно было бы более разяще и более уничижительно, чем это сделал Пушкин, описать тот тип холуйствующего либерала-западника, который в пушкинские времена еще только зарождался, так и оставшись пигмеем перед мощной силой государства («поникнул ты главой и горько возрыдал»), а в наши дни, оперившись, раздобрев на заморской подкормке, «потирая руки от наших неудач», «лукаво» похохатывая, буквально на глазах не успевшего разобраться, что к чему, «изумленного» народа продал и предал Россию?

Но и на это (в том же своем «польском» цикле) пророчески ответил наш русский гений:

*Сильна ли Русь? Война и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Ее, беснуясь, потрясали —
Смотрите ж: все стоит она!..*

Чтобы по-настоящему осмыслить духовную миссию Пушкина в глобальном, временном измерении, расшифровать, по слову Достоевского, пушкинские пророчества и указания, необходимо понять самую суть тех глубинных цивилизационных сломов, которые явственно обозначились уже к концу прошлого столетия.

Собственно, предчувствия таких слов, интуиции о грозящих миру духовных кризисах начали проступать сквозь ткань русской литературы более полутора веков назад — а именно в пушкинскую эпоху. В 1835 году Баратынский пишет свое знаменитое стихотворение «Последний поэт». Его начальные строки, полные горечи и тревоги, звучат предупреждением о надвигающейся на человека опасности:

*Век шествует путём своим железным,
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещения
Поэзии ребяческие сны,
И не о нем хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы...*

Показательно, что 1835 год — год, когда было написано это стихотворение Баратынского, это и год обращения Пушкина с письмом к начальнику III Отделения императорской канцелярии графу Бенкендорфу с просьбой о разрешении на открытие своего журнала. Речь шла о журнале «Современник». Уже в начале следующего года вышел в свет его первый том. Конечно, было бы слишком узко трактовать причины, заставившие Пушкина взяться за новое издание, лишь его затруднительными материальными обстоятельствами. Кстати, в их разрешении журнал помог мало. Безусловно, дело было в другом. И прежде всего — в обстоятельствах общественных. И, конечно, в органично присущей Пушкину гражданственности, в государственности его мышления. Пушкин первым из русских писателей явил нам образец творческого поведения личности, для которой литература была не просто средством выражения потенций его духа, но и делом в высшей степени общественно значимым. Пушкин добровольно взял на себя ответственнейшую миссию не только организатора литературного процесса, но и демиурга общественной мысли, государственного строителя (вспомним его тезис: «Сословие журналистов есть рассадник людей государственных»). Проводя параллели с сегодняшним днем, мы, конечно, понимаем, что у Пушкина речь идет об идеальной мере.

Итак, начало 1830 годов. Закрыта «Литературная газета», прекратилось издание «Московского вестника» — печатного органа Любомудров. Пушкин и его круг, «литературная аристократия», как называли эту литературную общность ее идеологические противники, по сути лишается общественной трибуны. А такая общественная трибуна, и это прекрасно понимал Пушкин, перед лицом угрожающих опасностей времени, становится насущно необходима. И главная из этих опасностей как раз та, о которой так пронзительно было сказано Баратынским: «...век шествует путём своим железным, в сердцах корысть...» Буржуазность, наступая на русскую жизнь, начинала вести себя вызывающе агрессивно. Литература, культура, утрачивая свою духовно-притягательную роль, все больше подчиняются диктату торгового оборота. Читатель обнаруживает в себе потребителя, способного диктовать литературе свои условия, навязывать ей свои вкусы, ставя ее в зависимость от своего спроса. Литература незамедлительно соглашается с подобным вызовом, угодливо стремится польстить массовым притязаниям. «Для удовлетворения публики, — с горькой пронизательностью констатирует Пушкин, — всегда требующей новизны и сильных впечатлений, многие писатели обратились к изображению отвратительного, мало заботясь об изящном, об истине, о собственных убеждениях». Подобная беспринципная позиция, тем не менее, находит и своих апологетов. И прежде всего в «журнальном триумвирате» Сенковского, Греча, Булгарина. Именно на этом фоне

и разverteвает Пушкин деятельность «Современника», призванного, по его замыслу, стать духовным барьером на пути всепроникающего яда потребительства и коммерциализации — этих неперенных спутников буржуазности. Общественная позиция журнала сильно и смело заявлена устами его главного редактора Пушкина прежде всего в статье «Джон Теннер». Характеризуя нравственные отношения в центре буржуазного мира — в северо-американских штатах, Пушкин обнажает перед читателем «демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких пред-рассудках, в ее нестерпимом тиранстве». Он прозорливо замечает, как «все благородное, бескорыстное, все, возвышающее душу человеческую» оказывается подавленным «неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (комфорт)». Речь идет, таким образом, о полной дегуманизации общественных отношений, о забвении всех нравственных норм и правил — следствии новых буржуазно-демократических установлений по американскому образцу, т.е. обо всем том, что «зрячий ум» русского гения (по глубокому определению о. Сергия Булгакова) сумел разглядеть еще на самой заре новой исторической эпохи.

Сегодня мы становимся свидетелями ее заката. Все те идеологемы, на которых держался мир западной демократии — либерализм (кстати, в пушкинском лексиконе это слово всегда несет в себе негативный оттенок: «еще похуже либерализма» — так говорится им о вещах, его раздражающих), права человека, гуманизм — все оказалось развенчанным самим же Западом. Буквально на наших глазах произошло нечто вроде духовного самоубийства, совершенного с помощью собственных бомб и ракет. Подтвердились самые мрачные пророчества Пушкина, писавшего о «бесчеловечных законах жестокого века», не заботящегося об «улучшении нравов».

И все-таки было бы глубочайшим заблуждением полагать, что исторический взгляд Пушкина на просвещенческую идею, на социально-экономический прогресс был столь уж пессимистичен. «О сколько нам открытий чудных / Готовит просвещенья дух...» — эта пушкинская формула прогресса — ответ поэта и его сегодняшним оппонентам, настаивающим на идее ошибочности подобного вектора движения России, бесконечно идеализирующим допетровские патриархальные времена, толкающим нас к изоляционизму и обрядовому национализму. Пушкин думал иначе. Национальные пути России, по его глубокому убеждению, не могли проходить в стороне от магистральных дорог мировой истории. Другое дело — сохранение своей национальной идентичности, собственного культурно-исторического лица. Пушкинский гений сумел соединить национальную судьбу России с мировой историей, преодолев разрыв, образовавшийся в тканях русской исторической жизни после революционных петровских преобразований.

Таким образом, Пушкин прекрасно понимал, что научно-промышленный путь, на который вслед за Западом вступала Россия, — не только объективная закономерность, но и историческая необходимость. Его беспокоило другое — не прогресс как таковой, а те духовные и гуманитарные последствия, которыми он был чреват. «Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне...», — так, провидчески взглядываясь в сопряженные с прогрессом опасные мутации человеческого духа, пронизательно и резко отзывается Пушкин о том типе полупросвещенного интеллигента-прогрессиста, который в его времена только еще начинал подавать голос, а в наши дни уже высокомерно поучает, полагая себя истинным представителем так называемой передовой и цивилизованной части человечества. Подобного рода «прогрессизму», натиску технократизма, «экономизма», проповедующим приоритеты пользы, выгоды, комфорта, оголтелому энтузиазму по поводу всего «нового», бездумному преклонению перед современностью, Пушкин противопоставлял традицию, глубинную

историческую вертикаль: «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости».

В ценностном отношении мир для Пушкина глубоко иерархичен. Отсюда и так поражавшее Льва Толстого гармоническое распределение предметов в художественном мире самого Пушкина. Отсюда его мудрое спокойствие и удивительное бесстрашие перед агрессивностью современности. Ему была ведома НОРМА. И именно это присутствие нормы создает неповторимый ареал его художественного мира. И в этом смысле творчество Пушкина — явление не только уникальное, но и абсолютное в ценностном отношении. Оно первородно по своей онтологической сути, свободно от энтропийности, соблазнов всесмешения. Дар различения — первейший дар Пушкина, как бы преподнесенный ему свыше самим Творцом. Творческая интуиция Пушкина пытается доискаться до глубинных смыслов предметов, ее оскорбляет их невнятность, замутненность их речи.

*Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу.*

«...Смысла я в тебе ищу» — этой строкой заканчивает Пушкин свое стихотворение «Бессонница», вслушиваясь в пугающе бессвязные звуки обступившей его ночной тьмы. «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» — этот пушкинский призыв к миру, прозвучавший, как это ни парадоксально, в едва ли не самый тягостный период жизни поэта, к миру, проникнутому извечной борьбой Добра и Зла, Правды и Лицемерия, Света и Мрака, был услышан Россией. Об этом свидетельствует вся ее послепушкинская трагическая, но пронизанная высочайшим духовным порывом история.

Этот призыв был услышан и понят русской литературой. Не поразителен ли тот факт, что Пушкин оказался единственным из русских писателей, в оценке которого единодушно сошлись почти все великие деятели русской культуры, сколь бы они ни разнились между собой, и все почитали за честь считать его своим учителем? «Русская литература, — как заметил Александр Островский, — в одном человеке выросла на целое столетие». И, осмелюсь добавить от себя, почти на целое столетие отсрочила погружение России в то состояние аморфного безволия, которое позволило ей дать совершить над собой операцию по имплантации в свой организм чужеродных органов и тканей, соблазнить себя байками потребительского демократического рая с его так называемыми свободами. Свободы же на поверку оказались свободами от долга, ответственности, совести. Или — другими словами — свободами от заветов христианской морали.

И здесь мы подходим к той черте, которая на карте нового тысячелетия может быть обозначена как закат европейской идеи, а по сути — идеи западного христианства.

Именно под знаменами христианства входило в мир второе тысячелетие. Пушкин писал в свое время об этом: «Величайший духовный и политический переворот нашей планеты есть христианство. В сей священной стихии исчез и обновился мир. История новейшая есть история христианства».

Гений Пушкина — одна из вершин этой всемирной и уходящей сегодня в небытие Истории. А потому совершенно бессмысленными кажутся современные споры о том, хорошим ли был Пушкин христианином, и уж совсем кощунственными выглядят обвинения его в дехристианизации, в полной секуляризации мышления с присовокуплением определений типа: «богохульник, масон, индивидуалист», творчество которого лишено «архитипических мотивов», связей с «традицией и ее языком», и т.д. и т.п. Подобная степень непонимания, а, точнее — нечувствования русского

гения, лишний раз подтверждает афористическую точность пушкинской мысли: «Нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви».

Я привела этот пример исключительно потому, что данное восприятие Пушкина исходит от одного из адептов нынешней патриотической мысли, объявляющего себя сугубым традиционалистом и апологетом Святой Руси.

О других попытках отлучения Пушкина от христианской традиции, в частности, о желании представить его едва ли не первым диссидентом России, таким демократом-западником, сокрушающимся по поводу русского варварства, всерьез и говорить не хочется.

Как видим, сегодня (впрочем, так было и вчера) Пушкин становится центром столкновения наиболее агрессивных идеологических тенденций — мрачного фундаментализма и оголтелого либерализма, пытающихся сделать его либо мишенью собственных амбициозных притязаний, либо своим сторонником и чуть ли не знаменем. История показала: подобные потуги безнадежны. Только поняв, как поняла это в свое время великая русская литература, что Пушкин — идеальный центр русской духовной вселенной, до которого еще предстоит дотянуться, Россия сможет исполнить — в который раз! — свою очередную историческую миссию: спасти и вернуть миру христианскую идею.

Такая постановка вопроса может показаться странной для нынешнего состояния России. Однако, вопреки всем тяготам, всем кризисам, всем агрессивным напорам — внутренним и внешним, вопреки потере державной воли и мощной государственности, последовательным воспитателем и устройтелем которых был Пушкин, вопреки тому, что ойкумена пушкинской России сжалась сегодня, как шагреновая кожа (где «холмы Грузии», где «тихие украинские ночи», где бессарабские степи?.. — перечисления могут быть долгими), вопреки всему этому, хочется надеяться, что с нами осталась Россия духовная, та Россия, в историческое предназначение которой Пушкин никогда не переставал верить.